



*Сергей Рубцов*  
**В глубине осени**  
Рассказы

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Сергей Рубцов

**В глубине осени.**  
**Сборник рассказов**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

## **Рубцов С. В.**

В глубине осени. Сборник рассказов / С. В. Рубцов — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Книга стала продолжением «Невыдуманных рассказов», изданных в 2016 году. По сути, она является художественным осмыслением реальных событий, произошедших с автором. Читатель окунётся в атмосферу жизни страны на рубеже XX—XXI веков. Содержит нецензурную брань.

## *Посвящается моим родителям*

### **1. В глубине осени**

#### *Воскресная баня*

По воскресеньям Димка с отцом ходил в городскую баню. В те далёкие шестидесятые годы прошлого века ванны были далеко не у всех. У Димкиных родителей её тоже не имелось. Выходной день был один в неделю – в воскресенье. Отец ещё с вечера субботы собирал своё и Димкино чистое бельё, полотенца, мочалку и мыло, а если мыла дома не оказывалось, то отец говорил, что «ничего – купим в банном ларьке». При этом он часто любил рассказывать историю про то, как один мужчина хотел купить в бане мыла, а продавщица сказала, что есть только «Яичное», на что мужчина сокрушённо отвечал: «Вот жалость-то, а я хотел весь помыться», – мама со старшей сестрой Аней смеялись, а Димка улыбался за компанию, хотя и не понимал, чего тут смешного.

Дима мальчик уже большой – пошёл седьмой год. Детский сад ему страсть как надоел, и он упорно упрашивал маму с папой отдать его в школу. Он наивно думал, что там будет интереснее.

Димка любил ходить в баню, особенно зимой. В ту пору как раз наступила зима. Отец разбудил его в восемь утра: он торопился, пока другие не заняли парилку. Быстро попили чаю. Отец взял кошёлку с банными причиндалами, и они почапали по морозцу, поскрипели по заснеженному тротуару.

Прохладно.

Мороз озорует: схватывает за щёки, щиплет за уши.

Напротив бани, через дорогу – полуразрушенная церковь. Сносят её. Сегодня на стройке тихо, выходной. Телевизионной антенной торчит на морозе башенный кран, неподвижно застывшее тело экскаватора, на его длинной жилистой шее на тресе висит тяжёлый стальной шар.

Идти от дома недалеко, метров триста всего по улице, вдоль ежедневного забора воинской части, мимо стоящих в ряд высоких солидных тополей с нахохлившимися, невпопад покрякивающими воронами на стылых чёрных ветках.

Димка считать ещё не умел, да и не думал он их считать. Он держался за крепкую руку отца и думал, что неплохо было бы подстрелить вот эту жирную из рогатки, но ни рогатки, ни камня под рукой не оказалось. Пацан сразу забыл про ворону и переключился на большого рыжего кота. Тот осторожно крался под забором: подстерегал компанию воробьёв и голубей. Они что-то там жевали, мурлыкали, суетились, отпихивали друг друга, торопясь схватить нечто питательное. Димка выдернул свою руку из отцовской, подхватил с обочины кусок потемневшей ледышки и запустил в кота, но промахнулся – она ударилась о забор в полуметре от рыжика и разлетелась на мелкие осколки. Рыжий разбойник от неожиданности подскочил вверх, вытянув все четыре лапы, круто развернулся и дал стрекача.

Димка до четырёх лет ходил в баню с мамой, и пока он был маленький, всё было пристойно, но потом парень стал задавать слишком много вопросов по части женской анатомии, и мама сказала, что ей с ним неудобно мыться в женском отделении и пусть лучше с ним ходит папа. Папа не возражал, Димка тоже, хотя его согласия никто и не спрашивал.

Вот и баня. Они вошли в вестибюль – что-то среднее между театральным или киношным фойе. Тут надо было сдать верхнюю одежду в гардероб и получить номерок. Рядом в ларьке на стеклянных полках стояли и пахли разноцветные флаконы с одеколонами и лосьонами, мыло – туалетное в бумажных обёртках и голое хозяйственное. Отец купил «Земляничное». Почему не «Яичное», Димка спрашивать не стал. Его больше интересовал жёлтый металлический ящик, из которого – если в него бросить трёхкопеечную монету – в подставленный

гранёный стакан с шипением льётся газированная с сиропом, ледяная, пузырящаяся, бьющая в горло и в нос вкуснятина! Но Димка по опыту знал, что газировки он сейчас не получит, а только после того, как помоеся.

Теперь надо было подняться на второй этаж, где и была, собственно, сама баня: налево – женское отделение, для Димки уже пройденный этап, направо – мужское. В раздевалке, или, как говорил отец, в предбаннике, всё: запахи прелого осеннего листа и мокрой простыни, шум водяного течения, отдалённые, напоминающие вокзальные, грохоты и гулы, хлопанье фанерных дверей вещевых шкафчиков, чёрные ребристые коврики на полу, лысоватый, вечно потный банщик с усталыми глазами и сонными движениями – настраивало Димку на предстоящее водное действо.

В предбаннике прохладно. Сквозь замазанные пожелтевшей краской окна приглушённо и равномерно сочился неяркий зимний свет. Кто-то из посетителей чем-то острым нацарапал на одном из окон «Коля».

Димка читать ещё не умел, но знал, что эти чёрточки и кружки называются буквами.

Здесь они разделись. Банщик закрыл шкафчик длинным железным крючком, выдал соответствующий алюминиевый номерок, сухой берёзовый веник и два тазика из оцинкованной жести. Можно идти мыться!

В двух больших залах по периметру вдоль стен тянулись ряды труб с кранами и тяжёлые гранитные лавки. Людей в это раннее время было немного, и от этого любой стук или слово отражались от высокого потолка, гудели, пытаясь разделиться и размножиться. Несколько мужчин уныло ополаскивались. Кто-то стирал трусы и носки. Некоторые набирали воду и осторожно несли на полусогнутых ногах свои драгоценные шайки, покачивая в такт волосатыми, сморщенными мудьями.

– Папа, а почему у дяди писк такая большая, а у меня – маленькая? – и Димка, сравнивая, посмотрел вниз на свой тонкий стручок. Мужики заржали и схватились за голые животы, а отец смутился и покраснел.

Потом отец набирал горячую, дымящуюся воду в тазик и, размахнувшись, резко окатывал из шайки всю поверхность лавки – обеззараживал. Лавка с минуту исходила паром. Только после этого на неё можно было садиться. Вообще мытьё в бане представляло собой довольно строгий, неизменный ритуал, и Димка уже знал последовательную смену картин. После поливания лавки – мытьё под душем и центральная сцена – парилка!

Парная – небольшое помещение без окон. Основная площадь занята длинными полками – деревянными ступенями, уходящими резко вверх к чёрному прокопчённому потолку. Справа от входных дверей умывальник и кран с холодной водой, слева – каменка с металлической, раскалённой докрасна дверкой – на неё лили воду, и тогда она выдавала пар и плевалась кипящими брызгами. К печи Димка боялся подходить, да и батя не велел.

Как отец ни торопился, первым ему в парную попасть не удалось. На верхней полке уже сидел какой-то мохнатый седой дед, похожий на лешего, в войлочной шапке и рукавицах. Он хлестал себя веником, кряхтел и хрипел заклинания. Его узловатое морщинистое тело пестрело прилипшими тёмными заплатами берёзовых листьев.

– Здорóво, – прокаркал леший. – Ты, мил человек, – обратился он к Димкиному отцу, – сделай божескую милость, поддай-ка парку́, а то штой-то маловато.

Батя послушно набрал в большущую алюминиевую кружку холодной воды из крана, наказал, чтобы Димка отошёл подальше, а сам подкрался к пышущей жаром каменке.

– Погоди-ка, – старик шустро скатился с полка, открутил крышку с неизвестно откуда взявшегося замшелого пузырька, вылил зелёную пахучую жидкость в кружку и что-то над ней прошептал. – Ну, теперь давай! – скомандовал колдун, а сам взобрался опять на своё место под потолком и уселся в ожидании свежего пара.

Отец размахнулся и саданул мощной струёй на металлическую раскалённую дверку. Каменка ухнула и, словно Змей Горыныч, с шипением испустила клубы белого облака. Оно, извиваясь, поползло вдоль потолка. Жар мгновенно заполнил всё и без того горячее пространство парилки. Пахнуло лесом, новогодней ёлкой, можжевелевой ягодой и ещё чем-то, мальчику незнакомым, но почему-то Димке показалось, что так должны пахнуть в Африке слоны и бегемоты, когда выбираются из болота.

Лешак торжествующе застонал и с удвоенной силой продолжил самоистязание.

Отец окунул свой веник в таз и полез на верхнюю полку, но там оказалось слишком горячо, он спустился чуть ниже и начал, подобно старику-лешему, усердно охаживать себя мокрым, потемневшим веником. Очень скоро он походил на рака, когда его, голубчика, вытаскивают из кастрюли с кипятком, облепленного листьями петрушки.

Димка томился и потел на нижней полке, время от времени окунал голову в таз с холодной водой – становилось немного прохладнее, но ненадолго.

– Пацан, чего скучаешь? – послышался похихатывающий из заоблачной туманности хрипчатый голос лешего. – Давай к нам! Дрейфишь? Слабак!

Димка себя ни трусом, ни слабаком не считал, и замечания старика заделали его за живое. «Ах так? Ладно!» – он посмотрел на отца – тот молчал и продолжал париться.

Мальчик мигом взлетел по горячим ступеням вверх и лёг животом на полку рядом с отцом. Деревянные доски жгли живот, грудь и ноги, дыхание перехватывало. Дальнейшее Митька помнил с трудом: хохот старика-лешего, волны пара и жар, пробирающий насквозь щуплое тельце, тихий говор отца и ощущение, как будто о мальчишку трётся своей пушистой горячей шёрсткой давешний рыжий котяра. Сознание съёжилось и юркнуло в чёрную обгоревшую дырку пустого сучка. Тело потеряло вес, на мгновение зависло в воздухе и провалилось в тёмную раскалённую пустоту.

Димка очнулся в общем зале на каменной лавке. Первое, что увидел, – испуганные глаза отца. Рядом переминался с ноги на ногу леший.

– Живой, я же говорил, а ты, малый, переживал, – прокаркал дед и звонко хлопнул блатю по спине мохнатой пятернёй. – Мужик! – добавил он, потрепал Димку по мокрой голове и быстро скрылся за дверью парной.

– Как ты, сынок? – отец ощупывал Димку, словно пытался найти на нём что-то, а чего – не знал.

– Ничего, папа, я заснул, – Димка сел на лавку, потряс головой. Стоявшие вокруг голые зрители постепенно расходились.

Потом отец с сыном мылились, обмывались под душем, одевались в чистое. Всё это мальчик делал как будто во сне, но после ледяной сладкой газировки он оживился и вышел на улицу уже бодрый. Отец шёл рядом, задумчиво молчал. Димка смутно чувствовал, что отец переживает и, наверное, ругает себя.

Мальчик остановился и посмотрел в беспокойные отцовские глаза.

– Ты не бойся, мы маме ничего не скажем, – прошептал мальчик и, чуть помедлив, добавил: – Ведь ничего же не случилось, правда?

– Лады, – отец благодарно улыбнулся сыну и пожал его маленькую лапку своей крепкой пятернёй, как взрослому.

### *Дом на окраине*

Мне уже много лет, и, оглядываясь назад, я пытаюсь вспомнить, было ли в этом прошедшем что-нибудь хорошее. Такое, о чём бы я мог говорить, не чувствуя обиды, вины, стыда. Был ли я счастлив, и если был, то где и когда...

И вспоминается мне всегда одно и то же: окраина города, старый дом с мансардой под черепичной крышей, изгородь, сплошь заросшая диким виноградом, яркие блики в стёклах

окон и тёплая, освещённая солнцем, крашенная светлой охрой стена с зеленоватыми пятнами плесени, сад за домом.

В доме жили две сестры с пожилой, но ещё не очень старой матерью. Младшую звали Мария, старшую – Барбара. Отец их умер несколько лет назад. Других мужчин в доме не было. Может показаться странным, но я не был влюблён ни в одну из сестёр. Они мне нравились, я любил смотреть на них, как смотрят на прекрасные экзотические цветы. Ни одной из них я не мог отдать предпочтения, обе казались мне по-своему интересными.

Мария была музыкальна. Невысокого росту. У неё были длинные светло-русые волосы. Она прекрасно играла на пианино и гитаре. Хорошо пела. Некоторая тяжеловесность фигуры и полная грудь несколько её не портили, поскольку восполнялись лёгкостью движений, добротой, природным обаянием и каким-то особенным спокойствием, одновременно тихим и весёлым.

С нею я познакомился в компании общих друзей. Она пригласила бывать у неё, я согласился и время от времени приезжал в гости. Брал с собой этюдник с красками и писал дом и сад. Марии было около двадцати, и по её движениям, по тому, как она смотрела на меня, было видно, что она ещё не знала мужчин. У меня к тому времени уже был любовный опыт, и я мог отличить девушку от женщины. Это довольно просто! Девушка без опыта смотрит на мужчину с интересом, может быть, с ещё неясной мечтой, но она пока не знает, чего она хочет, потому что не испытала ощущений физической близости с мужчиной. В ней больше мечтательности и романтических чувств, но в этом есть своё очарование и прелесть.

Мне показалось, что Мария в меня влюблена, но тогда моё сердце было занято другой женщиной и меня вполне устраивали дружеские отношения.

Барбара года на три-четыре старше Марии, напротив, была темноволосая, в меру высокая, стройная, с большими карими глазами. В ней чувствовалась уже разбуженная страсть, некоторая внутренняя напряжённость и нервность, и взгляд – нет, не вульгарный и не пошлый – но «знающий», в нём читался интерес не грубый, но определённый – она уже знала, чего она хочет от мужчины.

Мать вечно была в заботах по дому, постоянно крутилась на кухне: готовила она очень вкусно. Вечером, когда я заканчивал свой очередной этюд, все садились в гостиной, освещённой старинной хрустальной люстрой, за большой круглый стол – ужинать. В середине стола всегда стояла цветочная ваза, наполненная цветами из сада: то нарциссами, то ирисами, а то и мясистыми, бледно-розовыми, похожими на растрёпанный зефир, пионами. Сёстры с матерью между собою говорили по-польски, со мною по-русски, а иногда вперемешку. Я не говорил по-польски, но многое понимал. Пили домашнее яблочное вино. Говорили о музыке, о живописи и литературе. Было интересно и весело. Мария брала гитару, и мы пели что-нибудь из Визбора, Окуджавы, Новеллы Матвеевой, запрещённого тогда Галича, или она садилась за пианино, и тогда комната наполнялась волшебными звуками Шопена.

Наверное, у матери были на меня некоторые надежды и виды как на жениха для дочек (мужчина в доме им был необходим), но вслух она их не высказывала.

Почему же я вспоминаю этот дом, эту семью и время, проведённое с ними, как самое счастливое? Не знаю, будет ли мой ответ убедительным.

Счастье – неуловимое, редкое состояние равновесия, когда не только полно того, чего тебе хочется, но и когда нет ничего лишнего. Я был счастлив потому, что был молод. Была ласковая, тёплая весна. Наши отношения не были омрачены ни любовной страстью, ни ревностью, ни чувством долга, ни тяжестью обид, в них были чистота и беззаботное веселье, лёгкость и независимость. Время остановилось и благосклонно смотрело на нас.

Когда мне бывает тяжело или особенно грустно, я закрываю глаза и снова возвращаюсь в ту весну. Сажусь за мольберт перед старым домом под черепичной крышей на окраине города. Вижу стены, крашенные светлой охрой, в акварельных дождевых зеленоватых подтёках

и сплошь заросшую диким виноградом изгородь, ломанные солнечные блики в стёклах окон, яблони за домом, кусты шиповника. Слышу женские голоса и звуки пианино. Я продолжаю писать свой этюд. Мне некуда спешить, можно спокойно поработать до вечера. Потом на землю начнут наползать тёмно-синие сумерки, вечерняя прохлада, и женщины станут звать меня в дом – к столу, к теплу, к свету.

### *Экзамен*

Москва. 7 января. Рождество. Для Андрея прошедший год выдался богатым на события. Но самым главным было его окончание – в конце декабря он женился. Единственной причиной этого брака была любовь. Иначе трудно объяснить, для чего нужно было сходиться мужчине, которому в будущем году исполняется шестьдесят, не имеющему ни кола ни двора, много повидавшему, и женщине, которая младше его на пятнадцать лет, также не обременённой жильём и имуществом. А может быть, и не надо ничего объяснять? Несмотря ни на что они решили жить вместе, в мастерской знакомой художницы, которую жена снимала уже больше года, – и он, бросив всё, прискакал к ней в Москву.

Сочельник выдался морозным, под тридцать градусов. Давно в Москве не было такого холода. В рождественскую ночь, сидя в промёрзшей мастерской, они кутались в пледы и вязаные кофты, прятали озябшие лапки в валенки. Смотрели до двух часов кино. Он боялся, что в постели им будет холодно, но зря. Ошибся. После страстных объятий было жарко. Они, счастливые, незаметно уснули и проспали двенадцать часов кряду.

Несколько раз он просыпался, ещё весь во власти сна, в котором были перемешаны реальные и фантастические места и лица. Тусклый свет, проникающий сквозь тяжёлые гардины, слабел в углу мастерской за большим мольбертом, складываясь в последовательно меняющиеся картины. Он опять заснул и словно продолжал смотреть фильм о себе.

Летнее утро 197... года. Без пятнадцати девять. Ровно в девять Андрею нужно быть в художественном институте на вступительных экзаменах. Но он решил, что на экзамен не пойдёт. Считал, что в этом нет никакого смысла. Председатель приёмной комиссии, профессор живописи К-с, поглядев на его флотские рисунки, сказал прямо, что шансов на поступление у него нет никаких. На благосклонные оценки и замечания молодого преподавателя Ш-са профессор просто не обратил внимания. «Нет академической школы, – отрезал К-с, – но поскольку вы после трёх лет службы, то запретить поступать я не могу. Пробуйте!» За плечами К-са, держась несколько в тени, шла та, которой и предстояло решать судьбы таких вот абитуриентов – заведующая кафедры монументальной живописи, доцент В-те. Она поинтересовалась, в какой школе он учился. Пришлось признаться, что он учился в Вильнюсской художественной школе, хотя Сильвестр – художник, его старший друг и наставник – предупреждал, что лучше об этом не говорить.

К сдаче экзаменов его допустили. Но к чему целый месяц зря ходить на экзамены, тратить силы, время и нервы, если всё равно шансов никаких нет? Он с тоской вспоминал, как старался и всё свободное время на флоте отдавал рисованию, мучил сослуживцев, заставляя их часами позировать в его радиорубке. Впрочем, молодые матросы были рады посидеть и подремать, пока он делал эскизы и штудии: это гораздо лучше, чем драить палубу, пахать в машинном отделении или чистить картошку.

Рисунков он привёз домой много, больше трёхсот, и они с Сильвестром долго отбирали из них те, что можно было бы показать на предварительном просмотре в институте. Сильвестр к этому времени уже оканчивал факультет монументальной живописи и работал над дипломом. Андрей решил поступать туда же.

Если рассудить здраво, то цель была практически недостижимой: приём на эту специальность (фреска, мозаика) проводился раз в два года, к тому же принималось не больше 3—5 человек на курс. Политика литовской профессуры в национальном вопросе была чёткой:

«мы готовим национальные кадры для работы в Литве» – это означало, что предпочтение отдавалось литовцам, поскольку, как считали профессора, русские и абитуриенты других национальностей вполне могли учиться в художественных заведениях в России или в своих национальных республиках. Начиная с третьего курса преподавание и сдача экзаменов проходили исключительно на литовском языке.

«Если рассудить здраво!» Но вот этого Андрей как раз и не мог сделать. Все три года службы на флоте он мечтал именно о том, что будет учиться искусству фрески, и не могло быть и речи, чтобы поступать на другую специальность.

Профессор К-с был, конечно, прав: в рисунках Андрея не было академической школы. Однако они представлялись живыми и оригинальными, на что и хотел указать профессору молодой преподаватель, живописец Ш-с.

Андрей был знаком с Ш-сом по художественной школе, где тот преподавал живопись. Трудно было понять, помнил ли Андрея учитель (учеников в школе было много), – важнее было то, что он его поддерживал.

Ш-с был представителем новой молодой генерации литовских живописцев, не так давно заявивших о себе несколькими нашумевшими выставками. Нашему герою не очень-то по вкусу были его картины, но нельзя было не признать их новизну и самобытность. Несомненно, что художественные предпочтения и подходы К-са и Ш-са должны были сталкиваться и расходиться.

Так или иначе, но утром, когда Андрей должен был идти на первый экзамен – письменный по языку и литературе, – в дверь спальни постучали. Это была мама. Она сказала, что кто-то звонит ему по телефону. Андрей, полусонный, босиком, в трусах и в майке прошёл в коридор и в трубке услышал бодрый голос Сильвестра.

– Слушай, старик, – сказал он, – я тут посоветовался с женой: и я, и она – мы считаем, что тебе надо ехать на экзамен.

– Я уже всё равно опоздал, – Андрей посмотрел на настенные часы, – экзамен начнётся через пятнадцать минут, мне до института ехать полчаса, не меньше, а я ещё, извини, в трусах.

– Ничего, успеешь! Давай собирайся и мигом в институт!

Андрей несколько мгновений колебался и раздумывал, но Сильвестр безапелляционно добавил:

– И без всяких разговоров, иначе знать тебя не желаю и руки не подам! – после чего Андрей решился, буркнул в трубку «ладно» и начал торопливо собираться.

Он наскоро умылся, оделся и выскочил из подъезда.

Утро было солнечное и какое-то особенно свежее. До троллейбусной остановки минут пять быстрым шагом, а потом как повезёт: можно было доехать до самого института на восьмёрке, но она ходила редко, и Андрей решил, что доедет до Замковой горы – туда шли несколько троллейбусов – а там срезать напрямик через парк, мимо Сада молодёжи – и выскочить на Тиесос. Тут и институт рядом.

Так он и сделал.

В половине десятого Андрей входил в здание института, примыкающее к костёлам бернардинцев и святой Анны. Институт занимал бывшие монастырские покои. Экзамен уже полчаса как начался. Гардероб и коридоры были пусты. Он показал вахтёру экзаменационный билет с фотографией, служивший пропуском, и нырнул внутрь. Где находится аудитория, в которой проходит экзамен, он не знал. Стал ходить по коридорам и заглядывать во все кабинеты. Тут он увидел мужчину, по всем признакам похожего на преподавателя. Мужик начал выговаривать ему: мол, ну что же вы, как нехорошо опаздывать! – на что Андрей, сам себе удивляясь, стал говорить по-русски, что он вот только что приехал из Севастополя и не знает, как попасть на экзамен. Незнакомец взял его «на буксир» и повёл по этажам и длинным мона-

стырским коридорам. Андрей плыл за ним и думал, для чего он соврал и что из этого выйдет. На душе спокойно-безразличный интерес, как будто всё это происходило не с ним.

Наконец они подошли к нужным дверям. Проводник вошёл первым. Андрей за ним. Большой зал был полон. Абитуриенты сидели по двое за столами. Сосредоточенно писали. Несколько женщин, принимающих экзамен, сидели за двумя столами, придвинутыми один к другому. «Овидий», как мысленно окрестил его Андрей, извинился, подошёл к женщинам и тихо по-литовски объяснил, что, дескать, паренёк приехал издалека, из Севастополя, так что дайте ему задание для выпускников русских школ.

Получалось удачно. Если бы не опоздание и не ложь, то ему, как местному жителю, окончившему русскую школу в Вильнюсе, пришлось бы писать изложение на литовском, что привело бы к неминуемой и быстрой двойке. А так он получил на выбор три темы для сочинения на русском: две из школьной литературной программы и одну свободную. Свободная тема представляла собой поговорку «Что посеешь, то и пожнёшь», и, понятно, что Андрей взялся писать о «посевах», которые можно было обильно и легко поливать словесными «вóдами», а не о Печорине или Катерине в «тёмном царстве», для раскрытия образов которых требовалось точное знание произведений классиков.

Теперь уже невозможно припомнить, что он написал, но что-то такое, листика на три накарбал. Придя через день на следующий устный экзамен, он с удивлением и удовольствием обнаружил, что получил «четыре» за грамотность и «пять» за раскрытие темы.

Устный экзамен по языку и литературе оказался ещё более драматичным.

Андрей вошёл в аудиторию, взял с преподавательского стола билет. Прочитав содержание билета, он понял, что пропал начисто, потому что первым вопросом там значился очерк Максима Горького «В. И. Ленин». Лишним было бы сказать, что Андрей не читал ни самого очерка, ни чего-либо о нём. Как-то так получилось, что при подготовке к экзамену – а Андрей действительно готовился – это замечательное произведение ну просто выпало из его поля зрения. И вот теперь нате вам: пресловутый очерк выскочил, как чёрт из табакерки. Что тут будешь делать! О том, чтобы заявить, что он не знает ответа на первый вопрос, не могло быть и речи. Это бы резко снизило впечатление и оценку. Строгий вид двух тёток-преподавателей также не вселял особой надежды на снисхождение. Перед ним готовились к сдаче экзамена человек пять, и Андрей смекнул, что у него в запасе есть ещё как минимум полчаса.

Он лихорадочно пытался вспомнить хоть что-нибудь об этом злосчастном очерке. Припоминались какие-то обрывки фраз вроде «прост, как правда» и что-то про рыбу в чешуе. И боле ничего! На таком «богатом» материале далеко не уедешь, а ехать ой как хотелось! Андрей приказал себе первым делом успокоиться и трезво оценить создавшуюся ситуацию. В конце концов, рассуждал он, что уж такого мог написать о Ленине Алексей Максимович, чего бы мы на сегодняшний день не знали. Вряд ли Горький написал что-нибудь резко отличное от родного и с детства знакомого образа вождя мирового пролетариата. Эта незатейливая мысль несколько успокоила его. Оставалось все знания о Владимире Ильиче, скопленные за двадцать лет жизни, присобачить к очерку Горького.

Недолго думая, он набросал на бумагу несколько тезисов, применяя следующие обороты: «Горький в своём знаменитом очерке вспоминает о...», или «очерк Максима Горького ярко рисует живой образ...», или «Глаза Ильича светились добротой...» – и так далее, всё в подобном духе. Минут через пятнадцать будущий живописец осмелел и обнаглел настолько, что газанул несколько цитат из горьковского очерка. Понятно, что эти цитаты Андрюша выдумал от начала до конца. В результате набралось полторы страницы текста. Не густо, конечно, но всё-таки...

Спрашивается, на что он рассчитывал? Расчёт был простой: на то, что тётки, принимающие экзамен, если и читали когда-нибудь этот очерк, то уже давным-давно забыли его содер-

жание. Тем более, что они беспрестанно болтали о чём-то своём, не обращая внимания на отвечающих абитуриентов.

Тут подошла очередь Андрея отвечать. Он приблизился к столу со своей бумажкой, назвал тему билета и стал читать то, что написал на листках. Не торопился, тянул резину, понимая, что надолго текста не хватит. Экзаменаторши продолжали беседовать и явно не слушали опус Андрея. Дочитав до конца, он решил не останавливаться и начал читать текст сначала. Тётки остановили его, когда текст вторично подходил к концу, и он уже собирался повторить своё сочинение в третий раз. Он мысленно с облегчением вздохнул. «Фу, кажется, пронесло!»

Второй вопрос билета не представлял для него никакой сложности: нужно было всего лишь прочитать наизусть стихотворение современного советского поэта, и он выдал тёткам «с выражением» из Евтушенко: «Вы помогите жизни, / будто бы девочке Герде, / расталкивающей холод / яблоками колен». Преподаки заулыбались и спросили, выучил ли он стих специально для экзамена или знал до того.

– Ну что вы, я вообще очень люблю поэзию. Да и сам иногда пишу стихи, – уже спокойно и несколько рисуясь добавил Андрей.

Довольные тётки отпустили его с миром без дополнительных вопросов, и, выйдя в коридор, он глянул в экзаменационный билет и увидел, что получил «пять баллов».

Третьим экзаменом была история СССР. Тут вообще без проблем. Ответы на вопросы об образовании Советского Союза и текущем международном положении Андрей знал распрямительно и отбарабанил на «пять».

Экзамены по общеобразовательным предметам закончились – и почти без перерыва начались по специальности: рисунок, живопись и композиция.

Лето, июль – и все студенты института на каникулах. В старом здании бывшего монастыря бернардинцев тихо. Сейчас здесь только абитуриенты и преподаватели, принимающие экзамены. Шесть часов на каждый рисунок с натуры: в первый день – портрет, голова старушки, во второй – фигура пожилого мужчины в плавках.

Институтские натурщики – опытные: сидят неподвижно – и видно, что дело это для них привычное. После каждого часа – перерыв пятнадцать минут, чтобы они могли отдохнуть.

Пока натурщики отдыхали, экзаменуемые выходили в коридор. Кто сидел на подоконниках, а кто просто смотрел в широкие институтские окна на небольшой скверик перед центральным входом, на кусты сирени и дорожку, ведущую к улице Тиесос (Правды), на то, как костёл святой Анны подставлял под солнечные лучи свой красно-бурый бок с узкими высокими ажурными окнами и причудливыми кирпичными узорами башен. Всё это было залито летним солнцем, глядело так ясно и чётко, словно после грозы, – зелень кустов и деревьев была по-праздничному яркой, тени глубже и синее. Впечатление усиливалось волнением первого экзамена, обострением зрения при работе над рисунком: Андрей старался показать всё своё умение, потел, переживал.

Сравнивая свои рисунки с рисунками своих конкурентов, он видел, что они не хуже, а порой лучше других. В то время он ещё не знал, что для того, чтобы поступить в этот институт и на эту специальность, ему надо быть на две, а то и на три головы выше остальных. Но главное, чего он не знал, что дело даже не в том, как он рисует, а в том, что фамилии тех, кто должен поступить, были заранее согласованы с кафедрой. Собственно, это и имел в виду профессор К-с, когда говорил Андрею, что у него нет шансов на поступление. В общем-то, профессор поступал гуманно. Он, зная всю подноготную и прекрасно понимая весь расклад, честно предупреждал Андрея. К-с не мог сказать прямо, но в тоже время он как бы говорил: «Ну зачем тебе, дурачок, тратить силы и время на совершенно бесполезную вещь. Мест – всего четыре. Два места – резерв заведующей кафедры, ещё одно – сынок видного функционера ЦК партии, четвёртое – дочка очень известного литовского писателя. Так что шансов нет, парень, твой номер шестнадцатый!»

Да, художественный институт – заведение элитарное, и не было ничего удивительного в том, что места в нём занимали в первую очередь дети и родственники партийной и культурной элиты республики. Тем более это относилось к такой специальности, как монументальная живопись: заказы на роспись оплачивались государством по очень дорогим расценкам, и художники-монументалисты получали неслабые деньги. Так что конкуренция была жёсткой.

Сильвестр знал об этой закулисной борьбе, но, пока шли экзамены, ничего не говорил Андрею. Он рассуждал так: «Пусть попытается, в конце концов, ничего не потеряет, приобретёт опыт, а там, чем чёрт не шутит, всякое бывает, может, и повезёт. Тем более, что ему, главное, не получить на экзамене двойку, после армии у него есть льготы, и его обязаны принять даже с тройками», – и в принципе он был прав.

И всё шло неплохо. Андрей получил «три» и «четыре» за рисунки и «четыре» и «три» за живопись. Оставалось сдать две композиции. Андрей тоже знал, что он «льготник», и достаточно сдать композицию хотя бы на две «тройки», и – о чудо! – он в институте.

Но... к сожалению, чудес не бывает, во всяком случае, они случаются крайне редко. Никто, ясное дело, принимать Андрея не собирался, и совершенно зря он старался и два дня пыхтел в аудитории, малюя композиции на темы «в аптеке» и «на перекрёстке».

На следующий день должны были вывесить оценки по композиции. Андрей не торопился: теперь спешить было некуда. Он встал, медленно и тщательно помылся в ванной, оделся во всё чистое. Пил крепкий чай, глядел в окно на безмятежное прозрачное лето. Он ничего пока не знал, сомневался, но всё же в глубине души надеялся на хеппи-энд.

К институту подошёл около двенадцати. У входа кучковались абитуриенты. Их было полно и в вестибюле. Они толпились возле доски объявлений, где вывешивались результаты экзаменов. Одни отскакивали от доски, радостно подпрыгивали, махали руками, верещали от счастья, другие – их было большинство – отходили с потухшими глазами, опущенными головами и плечами. Андрей подошёл к доске и между чужими затылками и ушами стал искать свою фамилию. В двух последних клеточках за чередой предыдущих оценок он увидел двух синих гусей, показавшихся ему чёрными – две «двойки». Он ожидал всякого, но не этого. Ещё раз проверил: может быть, он ошибся? Но нет, без сомнения – это его оценки за композиции. Тело затвердело, сделалось деревянным. Его как будто придавили к земле. Дышать стало тяжело, и потемнело в глазах – от злости, отчаяния, чувства несправедливости. «Неужели он так херово сделал эти композиции? Ладно бы, хоть одна «двойка», но две!.. это уже слишком, ни в какие ворота... и что теперь делать? А что тут сделаешь? Ничего, ничего тут не поделаешь. Одну ещё можно пытаться опротестовать, да и то... что кому докажешь... если и докажешь, что вряд ли, как потом учиться? Съедят в первый же год. Такую создадут атмосферу – сам уйдёшь! Надо жить дальше, искать работу, двигаться, шевелиться».

Он ещё постоял у доски, приходил в себя, осознавая новую реальность. Потом вышел на улицу. Солнце всё так же весело зажигало листья на кустах и кронах деревьев. Он не знал, куда ему теперь идти. Не всё ли равно!

Сильвестр, после того как всё закончилось, передал Андрею свой разговор с лаборантом Пятрасом. На вопрос Сильвестра: «Как там дела у моего друга?» – Пятрас ответил: «Знаешь, твой приятель начал очень интересно делать композицию». Но после дальнейших расспросов Сильвестра сказал коротко, как отрезал: «Твой друг хорошо рисует, но он не поступит».

Дальше – череда неопределённых, тягостных дней, невесёлых мыслей и дел. Недели через две Андрей заехал в институт и забрал документы. Рядом во дворе он увидел радостно щебечущих молодых людей: двух парней и двух девушек – они копали землю на клумбах. Он узнал этих ребят – они сдавали экзамены вместе с ним. «Значит, они поступили и сейчас заняты летней практикой», – догадался Андрей. Он попытался вспомнить их экзаменационные рисунки, но, кажется, ничем особенным их работы от других не отличались, а у одной из девиц так и вовсе были откровенно слабыми. Всё это не утешало, а скорее раздражало его: «Но, однако,

они поступили, стали студентами и будут учиться, а я?» А ему оставалось только завидовать этим счастливым.

Его друг, Сильвестр, заканчивал дипломную работу, делал эскизы для фрески и собирался уезжать в провинциальный городок под Каунасом. Там, в здании Дворца культуры, находилась большая стена, на ней он и должен писать дипломную фреску. В этом же городке Сильвестру предложили остаться главным художником и уже приготовили для него квартиру и мастерскую.

Сильвестр иногда звонил, просил Андрея приехать к нему в институт позировать или помочь кому-нибудь из студентов сделать срочную работу. Расчёт как обычно в «жидкой валюте». Её употребляли тут же, в аудиториях института, после успешного окончания работ.

Семейная жизнь Сильвестра за время его учёбы в институте «дала трещину», а под конец и вовсе развалилась. Жена с дочкой переехала сначала к маме, а в скорости вышла замуж за американского литовца и укатила с ним в США. Сильва (так звали его друзья-художники) остался один и предался прелестям богемной разгульной жизни.

Близилось время отъезда в провинцию, и он предложил Андрею поехать с ним. После неудачи с поступлением Андреем овладела тоска и особого рода бесшабашная разудалая апатия: он посреди дружеского хмельного застолья вдруг ненадолго замолкал, уставившись в угол, и сколько бы приятели ни пытались с ним заговорить, ничего добиться не могли – он застывал в кратковременной амнезии. Голоса и звуки доносились как будто издали, гасли по дороге и достигали его слуха приглушёнными, не касаясь и не проникая в сознание. Вскоре это состояние проходило и сменялось бурным, безудержным кутежом и бравадой.

Наконец, пришло время переезда. Сильветр на микроавтобусе подкатил к дому, где Андрей в подвальчике снимал мастерскую. Быстро погрузили вещи. Их было немного: старый потёртый диван, два стула, картины, подрамники, мольберты, краски и прочий художественный скраб.

Городок, в который они направлялись, был подшефным художественного института. Главное предприятие в городе – химический комбинат. Его трубы дымили на окраине. Ветер постоянно сносил дым в сторону реки, и хвойный лес на противоположном берегу желтел выгоревшей полосой. Иногда ветер менял направление, и тогда в городке чувствовался характерный запах.

Решили жить в мастерской на втором этаже деревянного дома, выкрашенного в ярко-зелёный цвет. Наверх вела крутая лестница, прилепившаяся к фасаду, обшитая досками. Две большие комнаты были разделены квадратным коридором. Одну комнату Сильвестр отдал Андрею, другую – взял себе, а в коридоре они устроили хозяйственную часть: склад для картин, кухоньку и умывальник. Водопровода не было. Воду носили с улицы из колодца. Печи в их комнатах были без топок – топки находились с другой стороны, за стеной, там были ещё две комнаты. Печи каждое утро разжигал истопник, которого ни Андрей, ни Сильва никогда не видели, а только слышали, как он шуршит, вытаскивает золу, закладывает дрова, и ощущали разливающееся тепло от постепенно нагревающихся печей.

Осень. Начало октября. Но дни ещё стояли погожие, солнечные. Медленно желтели и краснели листья клёнов и тополей у зелёного дома. Андрей проснулся – он спал на полу, на Сильвестровом большом овчинном тулупе – от непонятного звука, проникающего сквозь стёкла окон. Стёкла слегка дребезжали, сотрясаясь от накатывающих звуковых волн. Очнувшись окончательно, он понял, что на улице играет духовой оркестр. Мелодия тоже не вызывала сомнений – кого-то хоронили. Шопен слышался отдалённо, но постепенно приближался. Вставать не хотелось, но любопытство всё же взяло верх, и Андрей поднялся, и как был в трусах и в майке, подошёл к окну.

Процессия медленно приближалась. Андрей прижался горячим похмельным лбом к холоду стекла. Впереди шли мужчины с алыми кровавыми подушечками, за ними траурными

группами женщины в чёрных платьях и платках, две молодые девушки скорбно склонили головы к пожилой женщине с окаменевшим лицом и беспомощно опущенными руками, за женщинами, еле передвигая ноги, – седой бледный мужчина в чёрном костюме. Он держал перед собой большую фотографию молодого черноволосого парня в панаме южных войск. Следом плыл закрытый гроб, обитый снаружи кумачом. За ним – цветы и ленты венков. Завершал шествие оркестр. Барабан глухо отбивал такт, ярко блестели на осеннем солнце надраенной медью трубы, альты и баритоны. Граммофонным растробом и толстыми мускулистыми изгибами выделялась туба. Скорбные звуки марша летели вдоль улицы, по течению реки, уносились в бледно-голубое небо – туда, где привычно стелился ядовитый желтоватый туман химического комбината.

Скоро закончится этот год – роковой, олимпийский, для многих, таких вот солдатиков, последний...

### *Прощание с Розой*

Легкий белый пух с влажной холодной нежностью опускается в раскисшую муть улицы. Хлип-хлюп-хлябь – шаги. Кто-то неприкаянный медленно и безнадежно плетется вдоль серых бетонных монументов февральского города. Месит ботинками подтаявший снег. Вслед за ним задумчиво, семена неправильной походкой, опустив голову и припадая на заднюю левую лапу, бредет лохматый пёс неизвестной породы. Белый, с апельсиновыми пятнами и черными подпалинами вокруг глаз.

«Боже, если Ты есть, ответь: отчего так печальна земля, почему такая тоска и пустота внутри и вокруг? Как холодно и враждебно пространство! И время так невыносимо жестоко и беспощадно ко всему живому и тёплому. Во всём предсказуемость и неизбежность. Вот, хочешь, я предскажу Тебе мое будущее? Нет, не далёкое, а вот нынешнее, сегодняшнее, сиюминутное. Молчишь? Но я всё равно скажу. Сейчас я пройду еще шагов триста—четыреста и по дороге в продуктивном магазинчике куплю пачку сигарет и спички. Дам продавщице три рубля (это всё, что у меня есть) и она (дурёха!) даст мне сдачи, как с пяти».

Он поправил взъерошенную от мокрого снега кроличью шапку и чуть прибавил шаг. Вот и магазинчик. С трудом открыл створку двери: пружина слишком жесткая и снег на пороге мешает. В зальчике пусто. Ни одного покупателя. Он повернул налево к «ликёро-водочному». Подошел к прилавку, за которым стояла плотная, неопределенного возраста продавщица. Она зябко куталась в накинутое поверх серого казённого халата дорогое зелёное пальто с пушистым воротником. Лица её он не рассмотрел, не пытался.

– Пачку «Примы» и спички, – глухо сказал он.

Вытащил из кармана серенького пальтеца сложенную пополам трёшку, положил на чёрную пластиковую тарелку кассы и стал смотреть на руки продавщицы.

Она, молча, смахнула трояк в приоткрытый ящик стола, взяла с полки сигареты и сбоку из картонного ящика коробок спичек. Положила их на прилавок. Шире открыла ящик кассы и стала выдавать сдачу: три рубля, потом рубль и мелочь. Он спокойно собрал сдачу, положил в карман пальто, поблагодарил и пошёл к выходу.

Шагнул на улицу. Снег всё также тихо падал крупными хлопьями, похожими на птичий пух. Пёс терпеливо сидел в сторонке под деревом, подняв острое ухо (второе не поднималось от рождения).

– Ну что, Хромушка, ждёшь? Прости, старик, но не купил я тебе ничего. Подожди до вечера. Что-нибудь придумаем.

Пёс тоскливо посмотрел на пустые руки хозяина. Вздохнул: «Ну, дескать, что с тобой поделаешь!» – И тронулся вслед за ним.

«Что и требовалось доказать, – продолжил он свой внутренний монолог, – по-моему вышло. Что скажешь? Молчишь? Ты всегда молчишь. Ты хочешь спросить: почему я не вернул

ей сдачу? Осуждаешь? Подумаешь, два рубля – велика сумма! Давай будем считать это Твоим подарком мне и Хрому. Ну, вот и ладушки. От тётки не убудет, а я себе куплю винца, а на остатные – косточек Хромушке. Тем более что знаю я Тебя – Ты, если сейчас что и дашь, так потом тут же что-нибудь отнимешь. Это у Тебя называется «гармоническим равновесием» и «высшей справедливостью».

– Ничего, Хромка, мы сейчас пойдем на рынок и в мясном ряду купим тебе у какой-нибудь Гали сладких косточек. Ты что насчёт этого думаешь? Вижу – обрадовался!

Пёс захромал веселей. Они пошли по скользкому тротуару дальше. Нужно было у перекрёстка перейти на другую сторону улицы. Мокрый грязный снег летел из-под колёс проезжавших мимо них машин. Сквозь плотную зыбь облаков ровно и матово растекался дневной зимний свет. Эта ровность и равнодушие природы выматывали душу, вытягивали без того натянутые нервы.

«Дура бессмысленная! – сказал он, обращаясь непосредственно к природе, – все тебе нипочем. Души в тебе нет, иначе ты бы страдала вместе со мной и радовалась с Хромом. Ты – баба и, как они, нечувствительна к чужой боли и радости. Пусть бы уж была чёрная пустота вокруг, и я бы знал, что я один и нет никакой надежды. Мне надоели твои обольщения, твои вечные зори и закаты, после которых никогда ничего не происходит. Надоела твоя вечная ложь! Одни увертюры без продолжения. Хорошо, что у меня есть еще большая банка «сажи газовой». Погоди, дай мне дойти до мастерской».

Загорелся зелёный. Они пересекли улицу и двинулись дальше. Прошли кондитерский магазин «Svajone», где продавали неплохой двойной кофе с мягкими душистыми булочками. Пахло свежей выпечкой, корицей и шоколадом, и в другое время он обязательно бы в него зашёл, но... настрой не тот. Он сглотнул слюну. Вытащил сигареты и спички. Закурил.

Подле рынка стоял стеклянный павильон «Цветы». Он подошёл и стал разглядывать сначала свое отражение, потом само стекло и только после этого то, что было внутри.

«Она так любит цветы, особенно розы, белые и черные. Зимой – больше черные. Они так идут к её бледной, гладкой коже, темным, почти чёрным большущим глазам, длинным и тонким пальцам рук, волнующим изгибам спины, бедер, плеч. Мне бы хоть малую часть тех чувств, которые она дарит цветам. Кто я для неё? Никому не известный художник, неудачник без образования и без будущего, депрессивный и надломленный. Зачем я ей?»

Он ясно увидел её гибкое сильное тело, бьющееся в судорогах любви в тисках его рук. Колющую в такт высокую молодую грудь, пушистую, пряную заросль густых, черных вьющихся волос, приоткрытые губы, оскал страсти и грудной звериный стон, полёт и невесомость собственного тела – он чуть не застонал в голос, но сдержался. Его постоянно мучила нестерпимая ревность: ревновал её ко всему и ко всем. Он чувствовал, что не сможет удержать её. Она никогда не будет принадлежать ему полностью, и от этого ревновал и желал её ещё сильнее. Каждая близость с ней казалась ему последней, и он отдавался страсти с ненасытной жадой приговорённого к смерти преступника. Казалось, что сердце не выдержит и лопнет от резких ударов крови. Каждая ночь – казнь, и постель – плаха, и они оба одновременно палачи и жертвы. Страсть – иссушающий жар и зной, дурманящая, сводящая с ума свежесть её тела, вкус её губ, аромат чёрной розы, мучительное и почти непереносимое наслаждение и сладкая опустошающая истома под утро, потеря сознания, сон, похожий на смерть...

– Р-о-о-з-а-а-а! – прошептал он, и звучание её имени обдало его жгучей волной на промозглом холоде улицы.

Он догадывался, что так продолжаться долго не может. Такая жестокая страсть не бывает долгой. Он не мог сосредоточиться, не мог ничем серьёзно заниматься. Она вытеснила всё и заполнила собой всё его существо. Но беда была в том, что и без неё он уже не мог.

Зайдя в павильон, он разглядывал, выбирал, нюхал и довел молоденькую девочку-продавца почти до истерики. Наконец, купил одну единственную розу и мысленно назвал её «чёр-

ная принцесса». Попросил плотнее укутать её в обёрточную бумагу, чтобы не замерзла, чем уже окончательно возмутил цветочницу, которая, однако, выполнила его просьбу, обиженно скривив ротик.

Они познакомились в художественном институте на вступительных экзаменах. В перерыве он увидел её. Она сидела в коридоре, на подоконнике. Пройти мимо неё было невозможно. Такого красивого лица он еще не встречал. Казалось, что его отлил из фарфора искуснейший кукольный мастер. Оно соединило в себе все совершенство семитских и славянских черт, но «ближневосточного» в нём было чуть больше. Он подошёл, и они разговорились. Слава богу, она оказалась не глупой, пустой, холодной красоткой, каких он часто встречал.

Всё в ней было живо: глаза, голос, движения совершенно сложённого тела. Он сразу понял, что пропал. Из-за таких женщин мужики бросают семьи, идут на преступления и самоубийство.

Они были молоды: ей девятнадцать, ему двадцать один. Была ли это любовь? Они сами не смогли бы ответить на этот вопрос. Кто знает... Он страстно хотел ею обладать, а она просто позволила ему это.

Она жила на окраине в частном доме с мамой и сестрой. У них была лишняя комната, и она предложила ему сделать в ней мастерскую. На что он, конечно, мгновенно согласился. Тут всё началось и продолжалось полгода, пока он не нашёл себе мастерскую в городе. Они жили у него месяца полтора, но она сначала раз в неделю, а потом все чаще стала уезжать к маме (так, по крайней мере, она говорила). Сегодня она должна была приехать.

Он проходил вдоль мясных прилавков. Вид и запах сырого мяса, разрубленные пополам туши – говядина, свинина, баранина – вот, где райское место для Хрома, его заветная мечта, земля обетованная. Хорошо, что он остался на улице и не видит всего этого изобилия, он бы тут сошёл с ума от этих «ароматов», мясных туш, напоминающих анатомические муляжи. Как бы он хотел вырвать её из своего нутра, пусть «с мясом»!

В детстве он любил рассматривать учебник анатомии. Мама удивлялась и пугалась: откуда такой интерес у шестилетнего мальчика? Ничего удивительного в этом не было: разбирают же пацаны машинки и часы, чтобы посмотреть, что там внутри. Ему было интересно, как устроен человек. Различия в строении тела мужчины и женщины особенно не впечатляли: ну, положим, так вот выглядит женщина, а вот эдак – мужчина. Тем более что без кожи и в разрезе они выглядели примерно одинаково. Сам себя он не относил ни к одному из видов. «Я еще маленький, а это взрослые. Они другие», – говорил он себе.

Много позже, когда ему было семнадцать, соседка Лайма, которая училась в медицинском, пригласила его позаниматься анатомией в прозекторской при институте. Договорились о встрече. На следующий день, в воскресенье, Лайма ждала его у ворот. Выдала пакет. Объяснила, что в нём халат, шапочка, скальпель и резиновые перчатки. Они прошли от ворот по аллее к зданию института. Вошли в подъезд и двинулись по длинному узкому коридору, по сторонам которого через равные промежутки виднелись высокие массивные двери, окрашенные белой масляной краской. Стекла в дверях были закрашены той же краской, так что не было понятно, что там происходит внутри. Их шаги нарушили тишину здания. По дороге они никого не встретили. Лайма сказала, что в это время тут практически никого не бывает. Коридор несколько раз делал резкие повороты, то влево – и тогда в окне был виден двор института, ярко освещенные утренним майским солнцем дорожки с рядами подстриженных кустов и глубокие синие витражные кусочки неба, – то вправо в глубину здания.

В первом помещении, в которое они вошли, все стены от пола до потолка занимали застекленные шкафы. На полках стояли большие стеклянные банки с заспиртованными человеческими зародышами на разных этапах развития и органами: мозг, сердце, печень, почки и так далее. Он мысленно назвал этот кабинет «кунсткамерой». За «кунсткамерой» находилась гардеробная, где можно было переодеться. Стены и пол, покрытые белой керамической плит-

кой. Ряд блестящих никелем вешалок. Умывальник. «Чистилище. – Он любил всему давать названия. – Анатомический театр тоже начинается с вешалки». Они переоделись в белые халаты. Надели шапочки. Подошли к двери прозекторской, на которой могла бы висеть табличка «Врата ада».

Зал прозекторской – большое круглое помещение. Полукруг стены напротив входа застеклен, так что на арене очень светло. Вдоль стен по кругу стояли металлические разделочные столы, в количестве тринадцати штук, но заняты они были не все. Только на четырех из них лежали накрытые полиэтиленовой плёнкой тела. Воздух был насыщен незнакомыми для него запахами.

– А вот и наши покойнички, – весело сказала Лайма, подходя к ближнему столу. – Мы теперь вспоминаем о них с благодарностью. – Она начала снимать плёнку.

Он помог ей – свернул и положил шуршащий полиэтилен на соседний стол. Немного волнуясь, повернулся к своему столу. На нём лежал труп старушки.

– Трупы лежат в ваннах с формалином, – деловито объясняла Лайма, – поэтому они сохнут и меняют цвет кожи.

Цвет кожи действительно был желтовато-коричневый, наподобие южного загара. Над старушкой уже кто-то поработал – кожа на груди и брюшной полости была препарирована и лежала сверху на теле кусками. Они сняли эти куски, открылась вскрытая грудная клетка. Были видны лёгкие, похожие на сине-фиолетовые крылья летучей мыши, трахея, напоминающая гофрированный шланг противогаса, сердце – темно-коричневый мешочек с темно-синими руслами вен, формой смахивающий на большую клубнику. Как обычно бывает при встрече со смертью – в его голову полезли банальные мысли: «Вот, что остается от человека после смерти. Бедная старушка! Долго жила, наверное, кого-то любила, рожала детей. Почему же она оказалась здесь?»

И он спросил у Лаймы:

– А откуда берутся эти трупы?

Она ответила, что в основном из домов престарелых, если некому хоронить, или это не опознанные никем покойники, умершие в результате несчастных случаев, убийств или естественной смерти.

– Разве в домах престарелых умерших не хоронят за государственный счёт? – спросил он.

– Так обычно и происходит, но ведь надо учить студентов... Я точно не знаю всей процедуры. – Она говорила, одновременно разрезая кожу старушечьего предплечья и посверкивая очками. – Но, вероятно, старичков уговаривают подписать бумагу о том, что они согласны после своей смерти... для пользы науки... и так далее. Наверное, как-то поощряют – дополнительное питание или ещё что-нибудь... точнее не могу сказать. В конце концов, ведь их всё равно хоронят. Вот, смотри, желудок, – указала она на сморщенный, как сушёная груша, мешочек чуть ниже диафрагмы. Видишь эти белые проводки? Это нервы, они проходят по всему телу и связаны со спинным и головным мозгом. – Она переместилась ниже. – А вот матка, – показала она на паховую область, где он увидел похожий на желудок мешочек, только немного меньший по размеру и гладкий.

В окна прозекторской лился радостный майский свет. Липы хвастались своей новой молодой листвой. Стерильная медицинская вата облаков ярко светила на бирюзовой сини неба. Институт стоял на высоком холме, и сразу за ним начинался спуск, который заканчивался ближе к центру города – долиной реки Нерис, в древности её называли Вилисей. Дальше открывался вид на другой берег – дома, костёлы, дальние холмы на горизонте. Так странно было сочетание этой сверкающей обновленной природы, вечной зелёной жизни за окнами и тем, что происходило внутри.

Если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель мог заглянуть снаружи в окно, то он увидел бы двух молодых (ему семнадцать, ей двадцать) студентов-медиков, склонившихся над

потемневшим, развороченным трупом, лежащем на холодном металле стола. Девушка – высокая, с великоватым ртом. Не красавица, но и не страшная. Рыжевато-русые завитки выбиваются из-под шапочки, которая от света из окон кажется зеленовато-голубой. Деловито поблёскивают стёкла очков.

Не знает бедная Лайма, что пройдёт каких-нибудь двадцать восемь лет, и она, уже будучи опытным хирургом, почувствует противную тягучую боль в том самом месте, на которое она теперь показывала своему подопечному. Боль будет день ото дня нарастать, придётся самой обращаться к коллегам-врачам, и прозвучит страшный, как удар топора, диагноз. Будет казаться, что мерзкое животное, родственник скорпиона, поселилось у неё в животе и постепенно пожирает её изнутри: медленно и методично отрывает кусочки её плоти своими безобразными клешнями и съедает их. Осталось двадцать восемь – и эта последняя цифра вдруг закачается и упадёт набок – и будет непереносимая, постоянная, нечеловеческая боль, наркотический туман, попытка химиотерапии, последний краткий предсмертный полёт и удар... и всё. Знак бесконечности.

Двигаясь вдоль рядов, он иногда останавливался, спрашивал цену и проходил дальше: «Да, Хром, мякоть-то кусается. Не по зубам. Обойдемся костями». На широких прилавках отрубленные куски млекопитающих: шеи, карбонад, вырезка, грудинка, голяшки, окорока. Свиная голова уставилась на него, прищутив один глаз, блаженно улыбаясь, высунув набок тёмно-фиолетовый язык и выставив вперед задорный, розовый пятак, как бы говоря:

– Не грусти, паренёк! Видишь, как меня разделали, и то я ничего, не унываю. Бери меня. Не пожалеешь!

Но связываться с головой не хотелось: много мороки, да и денег на неё не хватит – и он купил суповых костей: «Сварю кулеш себе и Хромке».

Взяв мясной пакет в правую руку, левой прижимая к себе кулёчек, с томящейся в нём розой, он вышел на улицу. Пёс, увидев и обнюхав пакет, радостно завертел хвостом и бодро заковылял рядом.

Снегопад ослабел. Темнело. Пора было двигаться в сторону мастерской. По дороге он завернул в винный магазинчик и купил бутылку дешевого крепёного вина.

Мастерская его была в старой части города недалеко от рынка. Нужно было пройти через арку ворот во внутренний дворик, повернуть налево, войти в тёмный подъезд, спуститься на три ступеньки вниз в полуподвал. Дверь, обитая черным дерматином. Поискал и достал ключ. В темноте долго тыкал в скважину. Чертыхался. Пахло старым домом, плесенью, котами, проржавевшими трубами. Наконец, открыл. Нашарил клавишу выключателя. Маленькая прихожая, вернее это была часть комнаты, отделенная самодельной перегородкой, осветилась желтым светом.

– Хром, заходи, – сказал он товарищу, терпеливо ждущему у дверей. – Только ноги вытирай, – пошутил он.

Пёс отнёсся к предложению серьёзно и тщательно вытер все четыре лапы о коврик перед дверью, только хромую ногу основательно очистить не смог.

– Ну, ты даёшь! – вымолвил хозяин от удивления и развёл руками.

Он сразу почувствовал, что что-то не так. Её вещей на вешалке не было. Обувной ящик опустел. Положил пакеты на пол. Снял и отряхнул от налипшего снега пальто и шапку. Он уже понял, что Она ушла. Прошёл в мастерскую и включил настольную лампу с абажуром, стоящую на круглом столе. Платяной шкаф был раскрыт. Ящики, где лежало Её бельё, были выдвинуты и пусты. Обнажённые деревянные плечики сиротливо желтели между его вещами. На столе белела записка, написанная Её рукой. Он быстро пробежал её глазами. Немного подумав, разорвал на мелкие квадратные части. Смял и бросил в стеклянную пепельницу. Вернулся в прихожую. Взял из кармана пальто сигареты и спички. Опустился на стул, стоящий у стола. Чиркнул спичкой и прикурил. Этой же спичкой поджёг с одного бока останки записки. Огонь

медленно поедал мятые бумажки, превращая остатки слов в черные засохшие лепестки розы: «...ам вино...ольше ...не мог...».

Умом он понимал, что это всё равно рано или поздно случилось бы, и хорошо, что не пришлось говорить слова, уговаривать остаться, обещать, выслушивать упреки, томиться, провожать. Нужно было привыкать к новому состоянию – без Неё. Хром завозился на своей подстилке в прихожей – напомнил о себе.

Он достал из пакета верхнюю кость и положил перед собакой.

– Ешь, Хромчик. Сегодня варить уже поздно.

Пёс с благодарностью посмотрел на хозяина и принялся грызть.

Он достал вино и поставил на стол. Открыл старенький холодильник. Положил в него пакет с костями. На столе стояла высокая узкая ваза с увядшей белой розой. Он вынул её и бросил в камин. Вылил воду в умывальник и набрал свежей. Стал разворачивать упакованную «чёрную принцессу».

«Ну что, не замёрзла? Сейчас я тебя раздену, и будем справлять «поминки». Опять придётся разговаривать с собакой и цветком. С Этим наверху говорить бесполезно – всё равно Он ничего не отвечает. Предоставил нам свободу, мол, приходите до всего сами. А зачем человеку свобода? Ему нужны – любовь и смысл. Без этого он любую свободу будет ощущать как несчастье и одиночество. Ему нужны тепло и нежность другого человека», – думал он и осторожно раскручивал хрустящие листы. В унисон ему Хром расправлялся с костью.

Наконец, он освободил розу и поставил ее в вазу.

«Она так же прекрасна и горда, такие же холодные, острые шипы, сжигающая страсть и красота. Аромат предсмертной тоски...»

Коротким движением сорвал металлическую пробку с бутылки и сделал два больших глотка прямо из горлышка. Пробежав по пищеводу, жидкость пролилась внутрь, обожгла желудок.

«Да. Это отнюдь не «Бордо», и уж тем более не «Аи» и не “Вдова Клико”».

Стало как будто легче и теплее.

– Ну что же, займёмся наследством, – сказал он вслух и сделал ещё один большой глоток.

Мастерская была разделена на две равные половины старинной китайской складной ширмой – осталась от бабушки. Цветы шиповника, деревья и птицы: цапли, фазаны – нежные переходы тонов, виртуозный рисунок, безупречная гармония композиции. За ширмой была рабочая часть: справа стоял высокий мольберт, слева у окна – наклонный стол для рисования, в углу – стеллаж с холстами. Холсты также стояли на полу, повернутые лицом к стене. На стенах последние рисунки – карандаш, уголь, сангина – и на всех Роза, её лицо, её обнажённое тело... Он в последний раз разглядывал такой, ещё близкий, но теперь навсегда уходящий образ. Он уже решил:

– Устроим аутодафе!

Срывал рисунки со стен и бросал их на пол. Потом сложил в одну кучу и отнёс к камину. Придвинул поближе кресло. Взял со стола вино и спички. Погасил настольную лампу. В окна через раскрытые гардины в мастерскую лился свет со двора. Во дворе светились соседские окна и фонарь. Сел в кресло, поставил бутылку на пол, чтобы была под рукой.

Спросил себя: «Зачем? Ведь это бессмысленно и глупо. Всё равно не удастся так легко изгнать Её из памяти, и навсегда останется в ней выжженный, покрытый пеплом угол». – И сам себе ответил: «Пусть стгорит то, что умерло. На пепелище легче прорасти новому».

Взял верхний лист. Пробежал взглядом. Скомкал и, чиркнув коробком, поджёг с угла и бросил в камин. Подождал, пока разгорится, и туда же отправил ещё несколько рисунков. Пламя каминных причудливыми отсветами заиграло по стенам и потолку мастерской. По дивану, столу, по картинам, по стоящему в углу за диваном поясному анатомическому муляжу мужчины, большому прямоугольнику зеркала, висящему между окон. Осветило ширму. Встрепе-

нулась цапля, удивлённо глядя круглым глазом. Вспорхнул над цветущим шиповником фазан. Ожили цветы. Бабочка шелкопряда полетела на огонь камина, и стал явственней в воздухе розовый аромат.

Он взял в руки ещё один рисунок, где Она сидела обнажённой, опираясь на одну руку и страстно выгнув спину, бесстыдно выставляла вперёд сводящую его с ума грудь. Смотрящее на него прелестное лицо, блестящие тёмные глаза, ореол чёрных вьющихся волос, полуулыбка нежных и страстных губ. Минуту помедлив, он всё же бросил рисунок в огонь. Бумага стала желтеть с одного края и посередине, постепенно темнея, и, став совсем чёрной, вспыхнула. Пожираемая пламенем, в предсмертной истоме, изогнулась спина, стройные ноги покоробились и обуглились, осветилась и исчезла грудь, почернели лицо и нежная светящаяся кожа молодой дьяволицы, превращаясь в пепел.

Он не проклинал Её. Нет. Не было ни ненависти, ни обиды. Было больно и пусто под сердцем, но он знал, что это со временем пройдёт. Глотнув из бутылки, он бросил в огонь, не глядя, оставшиеся рисунки и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. От камина тепло доходило до его колен, рук и лица – Её последнее тепло. Догорели и погасли слабеющие огоньки. Лишь по пепельным краям, где только что были язычки, пробежали дорожки искрящихся змеек. Кремация закончилась.

Так просидел он около получаса в состоянии, которое временами накатывало на него – нечто вроде ступора. Внешний реальный мир отдалялся: притуплялся слух, тело теряло привычные ощущения, и глаза смотрели сквозь видимые предметы – виделось невидимое. Вот и сейчас стали проноситься странные картины: толпы людей с зажжёнными факелами бежали по улицам города, стекаясь со всех сторон города к ратушной площади. Они что-то кричали, лица их были полны злобы и какого-то животного сладострастия. Он видел всё это сверху. Видел помост в центре площади, деревянный столб и то, как какие-то люди в чёрных одеждах подносили и складывали у столба вязанки с хворостом. Площадь уже была заполнена народом, и вся освещена факелами, огни которых с высоты казались шевелящимся огненным змеем.

Люди в чёрном вывели на помост приговорённую к казни. Сорвали с неё длинную белую рубашку и приковали цепью к столбу. Толпа зашевелилась и зашумела. Вид обнажённого юного тела ещё больше распалил зрителей, и они закричали: «Ведьма! В огонь её! В костёр!»

Он узнал Её сразу. Её тело он узнал бы из сотен тысяч других. Это была Она – его Роза, «Чёрная Принцесса».

Приготовления продолжились: стали обкладывать её ноги вязанками сухой соломы и хвороста. Монах иезуит выкрикивал обвинительный приговор. Когда он закончил и приложил крест к лицу преступницы, палач, взяв из руки помощника пылающий факел, поджёг костёр со всех сторон.

Дальше смотреть не было сил. Он усилием воли прекратил видение и открыл глаза. Встал и подошёл к окну. Двор был пуст. Мокрый тяжёлый снег. Кусок вечернего зимнего неба сплошь в плотных тёмно-серых облаках над черепичной крышей соседнего дома. Чёрно-синие птицы что-то искали в сугробах. Дотронулся до холодного гладкого прямоугольника, висящего на стене между окнами. Увидел себя. Свет из окна, проникавший в просвет между шторами, делил его лицо пополам.

«Вот так и моя жизнь разделилась на «до» и «после» Неё», – подумалось ему. К этому примешивалось чувство того, что он совершил что-то бессмысленно жестокое и гнусное. Ещё днём у него возникла идея, которая тогда казалась ему оригинальной, но сейчас он не был в этом уверен. Больше того – после аутодафе – она казалась ему мерзкой.

Пройдя за ширму, в рабочую половину, он включил лампу с алюминиевым отражателем, какими пользуются фотографы. Постояв немного, стал разворачивать стоявшие на полу холсты к себе лицом. На него глядели сверкающие снежными вершинами белые розы в круглой, как шар, стеклянной вазе, загородный дворец вельможи XIX века с фрагментом старой липовой

аллеи, освещённый ярким летним солнцем сад у Её дома, и Она, сидящая на скамье в тени сирени, вся в жёлто-оранжевых солнечных пятнах и зеленовато-голубых тенях.

«Неужели я хотел всё это уничтожить? Замазать весь этот сверкающий, искрящийся, живой мир мёртвой чернотой? Оставить после себя прямоугольные и квадратные дыры? Нет. Пусть этот мир холоден, жесток, груб и безразличен, но всё же он так томительно прекрасен и так трагически необходим, и красота его так сладко ранит и ласкает сердце».

Он искал и нашёл круглую большую жестяную банку с чёрной краской. Повертел её в руках... и засунул далеко-далеко в самый дальний угол мастерской за стеллажи. Разделся и лёг на холодный диван. Постель ещё сохраняла Её аромат.

Полоска света из окна. Роза на столе. Они попеременно вздыхают – собака и человек.

*В глубине осени*

*Быть может, нет другой на свете,*

*кто по душе мне был бы так,*

*и, может быть, одни лишь эти*

*глаза развеяли мой мрак?*

*Жерар де Нерваль*

Филумов не был на родине долгих семнадцать лет. Лёжа на верхней полке купе, он невидящими глазами смотрел в окно вагона. За окном сменялись пейзажи: поля бежали за перелесками, перелески – за неизвестными посёлками, железнодорожными переездами, лесными просеками, – но всё это мелькало перед его глазами, отражалось механически, не проникая в глубину сознания. В голове кружились сборы перед отъездом, беготня с документами и поездки в столицу для оформления шенгенской визы. Переживал, получит или нет: не так-то просто теперь съездить в Литву. Но вот все эти страхи и волнения позади. Скоро Белоруссия и уже недалеко... мама, сестра, могила отца, друзья.

В купе поезда «Москва-Вильнюс» беседовали. Кто-то говорил, что жить в Литве можно, а другие, наоборот, что трудно и нельзя, третьи – что русских прижимают, четвёртые, напротив – что, если не слишком «выёживаться», получить образование, знать государственный язык, то работа найдётся, если, конечно, есть связи и деньги.

Подъехали к границе. Пограничники проверили визы в паспортах, «пробили по базам» и сошли. Следом пошла таможня. Женщина в униформе лет сорока попросила приготовить багаж к осмотру, живо интересовалась – кто что везёт. Филумов открыл свою сумку, сказал, что ничего особенного у него нет, так, гостинцы для родни. Тут она увидела початый блок сигарет, и глаз у неё хищно загорелся.

– А вы знаете, – плотоядно пропела таможня, – что по нашим правилам нельзя провозить больше двух пачек?

Филумов не знал об этом. У него оставалось восемь пачек.

– Будете оплачивать пошлину на шесть лишних? – хитро поинтересовалась таможня и добавила. – Если отказываетесь, то пишите заявление об отказе от оплаты и согласие на изъятие.

Прикинув, во что обойдётся пошлина, Филумов решил, что дешевле будет купить сигареты по приезде и подписал отказ. Причём это был не бланк с печатью, а простая бумажка формата А-4. «Ладно, – примирительно подумал Филумов, – пусть таможня покурит российских сигарет. В конце концов, за семнадцать лет разлуки с родиной шесть пачек не так уж много».

Он волновался, но крепился из гордости.

В городе его воспоминаний – поздняя осень. Под утро с холмов и от реки в сонные улочки заползают влажные туманы и лежат там до полудня, дремлют, не хотят выползть. Дома, воздух, деревья, прохожие становятся неясны, призрачны, размыты, будто смотришь на улицу сквозь матовое стекло. Морось, мелкая водяная пыль. Город медленно мокнет, пропитывается

влажностью. Черепичные крыши теряют яркость, зеленеют, недовольно морщатся. Набухают колокольня и купол кафедрального собора. С трудом пробивается сквозь молочную плёнку колокол часов, отбивающий четверть времени. Темнеют, покрываясь голубоватой сыростью, колонны центрального входа, статуи Владислава и Казимира. Они смотрят в тусклое небо, сетуют на погоду, обращаясь с мольбой к милосердному Всевышнему, пытаются спрятаться от дождя, втиснуться в неглубокие барочные ниши. Блекнет, теряет очертания, почти не виден замок, венчающий, словно корона, мохнатую голову холма. Лоснятся и становятся скользкими скамейки вдоль аллеи парка. Они пусты и бесприютны. Лишь изредка промелькнёт где-то вдалеке одинокий зонт спешащего куда-то прохожего. Немного грустно. В этих призрачных туманах Старого города прячутся забытые легенды, истории царства, медленно стираются в песок некогда мощные, неприступные стены замков, умирают мороки снов, нежная сила объятий, клятвы влюблённых – и сама память о них уносится быстрым потоком Вильняле далеко, безвозвратно, и будущее, сквозит где-то там за поворотом аллеи, в её таинственной янтарной глубине.

Вот уже и первые ночные морозцы прихватывают охристую желтизну и багрянность листвы, скрючивают пальцы клёнов, приближают падение, холод, смерть.

Удар колокола – сухопутные склянки. Звуковые круги волнами расплываются в мутном небе, колеблют водяную взвесь, золотую ряску, силятся всколыхнуть застоявшуюся старую шхуну. На борту, густо обросшем водорослями и ракушками, можно прочесть едва различимую надпись – «Память».

Прошлое невозможно изменить, но можно изменить память о нём. Вернее, память сама со временем корректирует прошлое: видоизменяет и пародирует его, производит отбор, ретуширует, смещает акценты, перепутывает даты, шутит шутки. Память всегда субъективна. Но когда ты возвращаешься в то место, откуда давно уехал, она как бы вновь пробуждается и преподносит неожиданные сюрпризы. Возникают давно забытые образы, люди, события, чувства, которые при других обстоятельствах ты никогда бы не вспомнил.

Город за эти годы не мог не измениться. Виртуально оторвавшись от державного «материка» и взяв курс на Европу, небольшой «остров» по имени Литва, по сути, остался на прежнем месте. Тектонических сдвигов не произошло. Филумову показалось, что в городе стало больше неба, зданий, свободного воздуха и чистого пространства, но меньше человеческого и того, что связано с людским движением жизни. Пахло музеем и старинной библиотекой, прелым листом – чисто и пусто.

Он захотел пройти к Старому городу пешком – мимо Кальварийского рынка, который тоже решил никуда не двигаться и остался на месте, – в сторону стадиона, к реке. Слева увидел новое здание налоговой полиции, сработанное в духе Мондриана или Малевича, что в данном случае не имело значения. В остальном дома, тротуарные плиты, деревья и часть видимого неба впереди и над его головой оставались старыми. Ближе к стадиону в левом верхнем углу показалась вершина холма с неизменным замком на макушке, но что-то было не так. Филумов сначала не мог определить, что в этой картине не то, и пока просто продолжал движение вперёд.

За стадионом открылся бетонный профиль дворца спорта, с его крышей, похожей на взлётную палубу авианосца, только без надстроек, самолётов и экипажа. Экипаж за семнадцать лет поиздержался, одичал и разбежался, самолёты разлетелись. Брошенный дворец-авианосец, не мигая, удивлённо, подобно Филумову, глядел пустыми глазницами иллюминаторов на Замковую гору.

Он подошёл ещё ближе. Стало понятно, чем гора нынешняя отличается от прежней – просто она облысела, на ней не осталось ни одного дерева. Чья-то жестокая и бессмысленная рука повыдергала всю некогда богатую шевелюру, и теперь, подумал Филумов, можно смело называть Замковую гору Лысой горой. Ещё он заметил прилепленную к холму, тянущуюся

от подножия к вершине нитку и кабинку игрушечного фуникулёра и слева от башни некое строение – новодел, вероятно реконструкция когда-то бывшего здесь верхнего замка.

– Тьфу, чертовщина! – прошептал он.

Вот и река. (Филумову больше нравилось её древнее имя Вилия, но всё же с детства он привык к мужскому – Нерис.) «Река. Реку. Говорю. Речь. Посполита». Он подошёл к мосту с металлическими дугообразными опорами-контрфорсами. Когда-то на этом месте весной наводили понтонный мост. На зиму его разбирали. Пройти на другую сторону можно было только по льду, если, конечно, лёд был толстым, но зимы постепенно становились всё теплее, лёд тоньше, а переход опаснее. Он помнил звук своих шагов: гулкие, они отдавались где-то в металлическом пустом чреве понтонов – глухие колокола, гудящие в осеннем, весеннем, летнем воздухе.

Филумов помнил, почему понтонный мост перестали наводить.

Ранняя весна. Конец марта. Теплеет. Лёд треснул, раскололся и сошёл вниз по реке, поплыл к Неману, постепенно тая, в Балтику. Понтоны уже выстроились и перегородили реку поперёк, подобно длинной членистой гусенице.

Вечером во Дворце спорта – концерт. Филумов уже не помнил, кто выступал – тогда гастролировало множество певцов и рок-групп из республик Союза и ближнего зарубежья. Концерт закончился около десяти вечера. Народ стал расходиться по домам. Филумов тоже был на этом концерте со своей подругой Натэллой.

На улице в конце марта ещё холодно. Женщины разодеты, многие в длинных вечерних платьях, в шубках и тёплых пальто. Из центрально входа выходят пары, семьи, дружеские компании. Стемнело. Вдоль набережной, отражаясь яркими дрожащими полосами света в свинцово-чёрной реке, светят редкие фонари. Разъехались немногие владельцы автомобилей, остальные разошлись пешком. Повезло тем, кому не надо переходить на другую сторону реки и очень повезло тем, кто ушёл с концерта чуть раньше и успел пройти по мосту в центр города к кафедральной площади.

К счастью, Филумов с Натэллой жили на правой стороне реки. Они повернули направо и пошли прочь от моста.

Позже сапёры объясняли, что монтаж и закрепление понтонов к тому времени закончить не успели и проход по мосту был запрещён, о чём предупреждали ограждения с надписями. Мы никогда не узнаем, было это злым умыслом негодяя или преступным легкомыслием кого-то из прохожих, но кто-то взял и откинул в сторону металлическую оградку с надписью «проход запрещён!».

Те, кто шли первыми, успели благополучно перейти мост. Не подозревая об опасности, полная концертных впечатлений, весёлая толпа гулко пошла по понтонам на другой берег, и, когда люди почти уже достигли противоположного берега, плохо закреплённый конец не выдержал нагрузки и оборвался. Быстрое течение реки понесло несчастные понтоны. Они наткнулись на отмель, перевернулись и сбросили народ в холодную ночную воду...

Теперь, через много лет Филумов стоял на мосту и представлял, как барахтались и кричали люди в ледяной гиблой воде, пытались плыть к берегу, как женщины в длинных вечерних платьях, в шубках и в пальто хватались за тех, кто оказался рядом, и вместе с ними уходили на дно реки.

Ангелы-хранители в ту ночь отдыхали или у них была пересменка, а может быть ежегодный слёт.

Потом, ещё почти месяц, водолазы прочёсывали дно здесь и дальше по течению, искали, находили и поднимали на поверхность тела утопленников.

О трагедии сообщили на следующий день. Натэлла была испугана, а Филумов представлял, как бы он повёл себя, окажись они в воде. «Не бойся, – говорил он подруге, – тебя бы я непременно спас. Право, не знаю – стал бы я вытаскивать других или нет? Вряд ли, вода

слишком холодная». За это Натэлла обозвала его трусом и эгоистом. Филумов возразил, что никакой трусости в своих предположениях он не видит, а есть в них только трезвый расчёт и чувство самосохранения. «Ты хотела бы, чтобы я утоп, доставая этих субчиков?! Благодарю покорно! Я не Господь Бог и не Христос, дабы «по водам аки по суху»! Тебе надобно, чтобы я непременно героически погиб, а ты – вдова, тьфу, невеста героя, в блеске и величии его, то есть моей немеркнувшей славы, в чёрной траурной вуали (красиво, не спорю!) отдавалась какому-нибудь хлыщу на нашем кресле-диване?! Вот, уж нет». – «Не юродствуй! Это пошло». – «А погибнуть восемнадцати лет от роду, неизвестно, за какие коврижки, из-за чьего-то разгильдяйства – это, по-твоему, не пошло?!» Он задумался. Всё же её слова задевали, и он потом долго размышлял над вопросом – трус ли он? Трусом он себя не чувствовал, но решил, что невозможно знать заранее, как ты будешь действовать в той или иной ситуации, пока в неё не попадёшь.

Теперь, через много лет, он стоял на новом мосту, смотрел на бегущую октябрьскую воду, проникал сквозь неё – или это она пропускала его сквозь себя, – не чувствуя своего тела, которое стало прозрачным, будто стеклянным; он забыл о себе, о том – где он, – растворился в городском волглоне, в реке, в зданиях, стоящих по берегам, и только удар колокола, слегка качнув воздух, вернул обратно растворённое в молекулах дождя его твёрдое существо. Всё так же мерно двигалось плотное тело воды, и ничто не напоминало о случившейся здесь трагедии.

Филумов очнулся и медленно продолжил свой путь. От кафедральной площади свернул на проспект Ленина, переименованный в честь князя Гедиминаса. Людей и машин и здесь было немного. Неспеша дошёл до здания главной почты и, решив, что пора углубиться в Старый город, перешёл на другую сторону проспекта и пошёл по Татарской (ул. Тоторю). Улочка почти не изменилась. Вот и областной военкомат. Вывеска указывала на то, что здесь теперь находится Министерство охраны края. Вспомнил, что отсюда его забирали на службу в армию и тут он дождался отправки трое суток на голых деревянных нарах; было девятое мая, День Победы, пронзительно голубое небо, город праздновал, а Филумов томился. Он только что расстался с Натэлкой, надолго (он тогда не знал, что навсегда). Он едва оторвался от её тела. Старался запомнить его изгибы, ямки, бугорки, мелкие пупырышки на ногах, упругую округлость плеч, бёдер, острые розовые соски небольших грудок, теплоту и нежность рук, вкус губ, аромат, запах – всё, что за четыре года встреч стало таким близким, почти привычным. Кто-то передал, чтобы он выглянул на улицу, и, когда он посмотрел вниз из окна третьего этажа, увидел Натэлку. Она была в алом гипюровом платье без рукавов и с открытой шеей. Смотрела на него вверх своими большими широко расставленными карими глазами, полными слёз, что-то шептала, улыбалась ему, плакала и снова улыбалась, и так пронзительно белели её лицо, шея и руки рядом с ярким пурпуром гипюра.

Потом были три года службы на флоте. Натэлла через год после его отъезда вышла замуж, родила дочь. Потом, когда он вернулся со службы, они несколько раз виделись. Филумов делал несуразные и нелепые попытки вернуть её, но всё изменилось – он, она и то, что их окружало, стало другим. Это были уже совсем другие отношения, и Филумов не хотел об этом думать. Он запомнил её такой, какой увидел из окна военкомата девятого мая много лет назад, с глазами, полными любви и слёз.

Улица поворачивала и поднималась вверх, направо и вывела его к Доминиканскому монастырю и к костёлу Святого Духа, затем он спустился налево, мимо антикварного магазина к университету и Святым Иоаннам, вышел на Пилес. Тут было множество лотков и палаток, торгующих поделками из янтаря. На повороте он увидел Мальвину.

Она возникла, как призрак. Вернее, как пародия на призрак. Потому что, во-первых, была живая, во-вторых, ничуть не изменилась за эти почти двадцать лет.

Это была женщина неопределённого возраста, ей можно было дать одновременно сорок и шестьдесят лет. Никто не знал, где и на что она жила и чем занималась. В прошлом её каж-

дый день в любое время года можно было встретить около центрального универмага. Вид её ошарашивал, особенно тех, кто видел её впервые. Любая разодетая и покрашенная цыганка рядом с ней проиграла бы в яркости наряда и макияжа: неестественный чёрный цвет волос, белый платок с большими кричащими цветами и бахромой, выбеленное лицо, густо чернёные брови и глаза, грубо намазанные губы и нарумяненные по-матрёшечьи щёки, нос крючком, на шее и груди связка невероятных бус, платье, больше напоминающее сшитые вместе флаги всех стран мира. В руках какая-то блестящая сумка и на ногах лакированные туфли, вышедшие из моды лет тридцать назад. Милостыню она не просила, во всяком случае открыто. Она стояла, и на её лице блуждала странная застывшая улыбка. Возможно, она таким образом предлагала себя, но трудно было представить мужчину, который бы соблазнился на подобное чучело. Она стала местной достопримечательностью и объектом постоянных насмешек. Филумов помнил, как кто-нибудь из друзей после долгого шатания по Бродвею, или коротко Броду, как они тогда называли проспект Ленина, предлагал развлечься и пойти посмотреть на Мальвину.

Вот эту Мальвину увидел Филумов на Пилес. Этот живой призрак прошлого вызвал в нём сложное чувство веселья и тоски, близкого к умилению, обычно ему несвойственного. Она несколько не изменилась и всё так же странно улыбалась, только поменяла дислокацию – понятно, тут находились основные туристические тропы и скопление публики.

Он прошёлся по лавкам. Разглядывал бусы, кулоны, кольца. Странно, но, несмотря на обилие янтарных поделок, почти во всех лавочках и палатках продукция была одинаковой, а его интересовали оригинальные вещи. Он искал подарок для жены. Наконец, он выбрал ожерелье, собранное из кусочков янтаря совершенно разных по цвету – от слоновой кости до тёмно-красного. Оно повторяло цвет осенних листьев.

Филумов ещё немного поговорил с янтарной продавщицей, расплатился и двинулся в сторону Замковой горы. Ему захотелось прогуляться по осеннему парку.

Он неспешно шёл по аллее, огибающей подножие Замкового холма. Цветы на клумбах уже отцвели. Под ногами солнечные ворохи листьев и озёрки луж. Ступал по листьям: ему было жалко топтать такую красоту. Навстречу медленно двигались редкие прохожие, а иногда вдруг замирали, зависали в воздухе, стараясь оторваться от осенней промозглой земли, улететь, взмахнув зонтами, в тёплую южную сторонку. Небеса и листву над головой пронизывали мокрые, смазанные чёрным лаком дождя ветви старинных лип.

Невдалеке за деревьями виднелось круглое крытое кафе – павильон с деревянными решётками вместо окон. В шутку его прозвали на парижский манер «Ротондой». «...Итак, она звалась Ротондой». Внутри под круглой крышей были расставлены столики. На зиму кафе закрывали, а пока тут можно было выпить чашку кофе и бокал сухого вина.

«Сухое хорошо, когда всюду мокро», – Филумов любил каламбуры.

«Ротонду» облюбовала местная творческая молодёжь – те, кто только ещё начинал или пытался нечто сотворить. Трепались о живописи, литературе, истории. Философствовали, выдавая чужие идеи и мысли за свои. Выпивали. Много курили. Влюблялись. Павильон за эти годы обветшал, покрылся патиной и смахивал на заброшенную загородную беседку. Он настолько врос корнями в отведённое ему место, что без него невозможно было представить дальнейшее существование парка.

Сейчас за одним из столиков троица молодых парней бурно обсуждала что-то литературное. Доносились слова: «Тарковский, сюрреализм, Беккет, Ионеско, экзистенциализм, Ван Гог, Малер» – и так далее. Самый старший из них, лет тридцати, неопределённой внешности и занятий, напустив на себя профессорский вид, доказывал молодым собеседникам, как важно изучать местный язык, который, по его мнению, брал начало в санскрите и уже по одному этому был достоин изучения и уважения. Всё это он произносил с апломбом, безапелляционно и был доволен собой. Впрочем, ему никто и не возражал. Интересно, что бы он ответил, если бы услышал брюсовское:

«Иль мы – тот великий народ,  
Чье имя не будет забыто,  
Чья речь и поныне поёт  
Созвучно с напевом санскрита?» – подумал Филумов.

«За сорок лет ничего не изменилось. Всё так же». – И Филумову стало грустно и тепло от банальной мысли, что «всё повторяется ... и время не властно...». Но понимал он и то, что ему только кажется, что ничего не изменилось – ничто не повторяется. Это иллюзия, что все листья на дереве одинаковые. Стоит только внимательно их сравнить. Они разные – дни, листья, капли дождя, ветки, облака над ними. «Сегодня» не похоже на «вчера» и на «завтра». Что значит – быть самим собой, сохранить себя, своё «я», и что такое «я»? Это что-то неизменное, твёрдая сердцевина, стержень? Но он не чувствовал ничего подобного внутри себя. Наоборот, было ощущение, что та внутренняя сущность, которая называется «я», ежедневно корчится, изменяется, испытывает боль трансформации. Сохранить, остаться – невозможно, как нельзя остановить ветер или начавшиеся роды.

Колокол пробил полдень.

Он прошёл под крышу кафе, заказал чашку кофе, бокал сухого вина и сел через два столика от молодых людей, соблюдая дистанцию так, чтобы они были видны, но и на достаточном расстоянии, где их громкий разговор не слишком бы его раздражал. Не то чтобы он как-то особенно не любил шум и людей, но в последние годы он стал замечать, что близкое общение и многолюдные компании вызывают в нём раздражение и мешают.

Филумов долго смотрел на мокрую аллею, на пустые теннисные корты, проглядывающие сквозь кусты, стволы и ветви парка. Прикладывался к бокалу с вином, запивая уже почти остывшее кофе. Он ни о чём не думал. В нём, независимо от его сознания, оживали забытые тени, слышались обрывки давних разговоров, кружились и ложились на дно памяти поздние сухие листья. Он увидел себя пробегающим по аллее в сторону легкоатлетического манежа после кросса по холмам Нагорного парка. Видение спортсмена промелькнуло и растворилось в конце аллеи, не добежав до памятника князю Гедиминасу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.